

Российская Академия Наук
Институт философии

ЭТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

Выпуск 4

Москва
2003

Содержание

МОРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

| | |
|--|----|
| <i>А.А.Гусейнов</i> | |
| Понятие морали | 3 |
| <i>Л.В.Максимов</i> | |
| Этика и мораль: соотношение понятий | 14 |
| <i>А.В.Прокофьев</i> | |
| Справедливость или преодоление человеческой природы? (метанормативный контекст понятия справедливость») | 23 |

ЭТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

| | |
|--|----|
| <i>А.Г.Гаджикурбанов</i> | |
| Идея самопревосхождения в доктрине Плотина | 50 |
| <i>А.К.Судаков</i> | |
| Этика совершенства в нравственной системе И.Канта..... | 67 |

ИСТОРИЯ МОРАЛИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

| | |
|---|-----|
| <i>М.А.Корзо</i> | |
| Проблемы нравственного реформирования общества в эпоху раннего Нового времени | 89 |
| <i>О.П.Зубец</i> | |
| Профессия в контексте истории ценностей | 103 |
| <i>О.В.Артемяева</i> | |
| Генри Сиджвик о высшем благе..... | 121 |
| <i>С.Н.Земляной</i> | |
| Онтология и этика светскости (О жизни света и светской жизни в Европе и России)..... | 145 |
| <i>П.А.Гаджикурбанова</i> | |
| Страх и ответственность: этика технологической цивилизации Ганса Йонаса..... | 161 |

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТИКИ

| | |
|--|-----|
| <i>В.Н.Назаров</i> | |
| Опыт хронологии русской этики XX в.: третий период (1960-1990) | 179 |
| Р.Г.Апресяну — 50! | 198 |
| Наши авторы..... | 204 |

Онтология и этика светскости (О жизни света и светской жизни в Европе и России)

Одним из знамений нашего смутного времени стало самоконституирование в нашем Отечестве вслед за самозванными академиями, гильдиями, фестивалями и т.п. странного феномена, который его историографы, например на телеканале ТВС, стали роскошно именовать «светской жизнью». Конечно, это — всего лишь имитация, симулякр, преимущественно бездарное подражание даровитому прообразу. Вот об этом прообразе, о его бытийной конституции, об агентах таковой я и хотел бы в дальнейшем потолковать.

Высший свет и светская жизнь

Феномен *светской жизни* появляется в тот момент, когда начинает уходить в прошлое *жизнь света* — высшего света, высшего круга, лучшего общества и т.п. Но с жизнью света происходит в этот момент примерно то же самое, что и с диктатурой пролетариата, если верить спекулятивным выкладкам Льва Троцкого: перед своим историческим исчезновением, перед тем, как погаснуть, она, подобно электрической лампочке, загорается особенно ярко, излучает некое ослепительное сияние. И в этом сиянии становится очевидным, что место *цветущей сложности* высшего света заступает *вторичное смесительное упрощение* светской жизни.

Нетрудно догадаться, что увлекательный сюжет света или высшего света невозможно обсуждать без и помимо обсуждения *проблемы аристократии* — европейской и российской аристократии в тех ее формообразованиях, которые характерны для Европы XVI-XIX вв. и России XVIII-XIX вв. Что до аристократии, можно сказать, что

аристократия, подобно проституции, это такая штука, которая выглядит очень по-разному в зависимости от того, как на нее смотреть — снизу, сверху или вровень с ней. Хотя есть огромный интеллектуальный искус, создаваемый абстрактной возможностью связывания понятия «света» со световой метафизикой апостолов Павла и Иоанна и гностической концепцией «эонов» (то есть «небес» и «веков» одновременно), градаций света от Бога и Люцифера, Светоносца, до «тьмы внешней», я мужественно отринув этот соблазн и встану на почву трезвости.

А эта почва — равно как и старик Фасмер — подсказывает, что историческое и социокультурное понятие «свет» или «высший свет» акцентировало одно из значений праславянского и индоевропейского корня «свет», под которым подразумевались не только «свет, день», но и «мир, люди». То же самое можно утверждать и насчет французского слова «monde», то есть ставшего всеупотребительным в Европе и России термина, обозначающего «свет», «высший свет»: главными значениями этого слова также являются «мир, свет» («Новый Свет») и «народ, люди».

Если обратиться к истинной энциклопедии «света» и «светскости», из которого черпал многие сведения не кто иной, как Александр Пушкин, при написании романа в стихах о «светском человеке» Евгении Онегине», — повторяю, если обратиться к некогда знаменитому роману Эдуарда Д.Э.Булъвера-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828), то мы увидим, что представители английской аристократии, которая в это время задавала тон во всей Европе, глядя на себя *вровень*, воспринимали свой «свет» *безо всяких прилагательных*, просто как «мир». В письме матери главного героя к сыну (глава IV) наличествуют как это нерушимое аристократическое понятие о «свете» как таковом, так и те коварные социальные потоки, которые стали подмывать его извне и изнутри, стали придавать ему относительность: «Тебе, мой дорогой, известно, что Гарреты как таковые отнюдь не безоговорочно признаны в свете, поэтому остерегайся *чрезмерно* сближаться с ними. Однако их дом на хорошем счету. Все, кого ты там встретишь, стоят того, чтобы по тем или иным соображениям вести с ними знакомство. Помни, Генри, — знакомые (не друзья — о *нет!*) людей второго или третьего ранга всегда принадлежат к лучшему обществу, ибо эти люди занимают не столь независимое положение, чтобы приглашать кого им вздумается, и в свете их оценивают исключительно по их гостям; ты можешь, далее, быть уверен, что по той же причине чета Гаррет будет, по крайней мере внешне, вполне *comme il faut!* Советую тебе приобрести как можно больше познаний по части *art culinaire*, это совершенно необходимо в об-

шестве. Нелишне также, если представится случай, бегло ознакомиться с метафизикой; об этой материи сейчас очень много говорят» (курсив автора — С.З.)¹.

Категории и традиция «философии света»

В этом письме к сыну, образцом для которого, очевидно, послужили известные и непревзойденные «Письма к сыну» лорда Честерфилда, содержатся почти все фундаментальные категории философии «света», и прежде всего категория «*comme il faut*», определяющая облик главной фигуры «света» — джентльмена. Слово «джентльмен» (англ. *gentleman*, франц. *gentilhomme*), которое из доброй старой Англии перекочевало на континент и повсеместно там распространилось, сперва обозначало человека, принадлежащего к знати, к привилегированным слоям общества, к аристократии и дворянству (джентри). Что такое сословие «джентри», название которого является однокоренным с термином «джентльмен»?

Формирование этого сословия связано со становлением сословно-государства в Англии (XIV век) и парламента: именно тогда вычленились три государственных сословия, которые были представлены в парламенте. Во-первых, это было высшее духовенство — архиепископы, епископы, аббаты; во-вторых, аристократия — герцоги, маркизы, графы, виконты, бароны; в-третьих, это были землевладельцы рыцарского звания, вольные земледельцы и горожане. Первые два сословия образовывали *палату лордов*; последние посылали своих представителей в *палату общин*. Земледельцы рыцарского звания образовывали *средний слой* между первыми двумя сословиями и вольными земледельцами с горожанами. Остальное население было внесословным, не имело политических прав, находилось ниже классов. К среднему слою в указанном смысле примыкали ученое сословие (приходское духовенство, университеты), юридическое сословие (доктора права, судьи, адвокаты). «Совокупность этих групп составляла некоторое целое, именовавшееся *джентри*. Когда в начале XV века было принято постановление о том, чтобы в формальном вызове на суд указывалось звание вызываемого, титулы «эсквайр» и «джентльмен» (благородный) признаются официальными титулами этого сословия, включая адвокатов» (Густав Шпет).

В XVII-XIX вв., как известно, «джентльменом» стали называть «вполне порядочного человека», иначе говоря, человека, строго следующего *правилам* света, светского человека; потом под ним стал пониматься просто корректный и воспитанный человек. Человек *comme*

il faut. Попробуем сперва разобраться в том, что *сам свет* понимал под «светским человеком», чтобы затем обратиться к главной для онтологии «света» оппозиции — *оппозиции между «светским» и «вульгарным»*. Учение о светском человеке содержится в письме лорда Честерфила к сыну от 30 апреля 1752 года по старому стилю: «Avoir du monde [быть светским человеком — С. 3.] — по-моему, очень верное и удачное выражение, означающее: уметь обратиться к людям и знать, как вести себя надлежащим образом во всяком обществе; оно очень верно подражает, что того, кто не обладает всеми этими качествами, нельзя признать человеком светским. Без них самые большие таланты не могут проявиться, вежливость начинает выглядеть нелепо, а свобода попросту оскорбительна. Какой-нибудь ученый отшельник, покрывшийся плесенью в своей оксфордской или кембриджской келье, будет замечательно рассуждать о природе человека, досконально исследует голову, сердце, разум, волю, страсти, чувства и ощущения и невесть еще какие категории, но все же, к несчастью, не имеет понятия о том, что такое человек, ибо не жил с людьми и не знает всего многообразия обычаев, нравов, предрассудков и вкусов, которые всегда влияют на людей и нередко определяют их поступки. Он знает человека, как знает цвета, — по призме сэра Исаака Ньютона <...> Человек, qui a du monde [который привык к свету — С. 3.], знает все это на основании собственного опыта и наблюдений <...> Поэтому учись наблюдать обращение, уловки и манеры тех, qui ont du monde, и подражай им. Узнай, что они делают, для того чтобы произвести на других приятное впечатление и для того чтобы потом его усилить. Впечатление это чаще всего определяется разными незначительными обстоятельствами, а не непосредственными достоинствами — те не столь *неуловимы* и не имеют такого мгновенного действия» (курсив мой — С. 3.)². Лорд Честерфилд вводит здесь другую решающую для онтологии «светскости» категорию — категорию «неуловимости», того *«неуловимого нечто»* (le je ne sais quoi, qui plaît — чего-то неуловимого, что нравится), которое облакает светского человека с головы до ног, резко выделяет его из толпы и делает несовместимым со всем *вульгарным*.

Полагаю, всем читателям хорошо известны строфы из «Восьмой главы» романа Пушкина «Евгений Онегин»: «Но вот толпа заколебалась, // По зале шепот пробежал... // К хозяйке дама приближалась, // За нею важный генерал. // Она была нетороплива, // Не холодна, не говорлива, // Без взора наглого для всех, // Без притязаний на успех, // Без этих маленьких ужимок, // Без подражательных затей... // Все тихо, просто было в ней, // Она казалась верный снимок // *Du*

comme il faut... // Никто б не мог ее прекрасной // Назвать; но с головы до ног // Никто бы в ней найти не мог // Того, что модой самовластной // В высоком лондонском кругу // Зовется *vulgar*. (Не могу... // Люблю я очень это слово, // Но не могу перевести; // Оно у нас покамест ново, // И вряд ли быть ему в чести. // Оно б годилось в эпиграмме...).

Трудно не заметить, что Пушкин, рисуя образ Татьяны как великосветской дамы, безукоризненный тон всего ее поведения, делает это в терминах той «философии света», о которой выше шла речь. Своего рода руководством в этой философии для Пушкина, повторяю, послужил помянутый роман Бульвера-Литтона, который он читал в оригинале (отсюда пушкинские англицизмы с галлицизмами и жалобы на трудности перевода), а именно еще одно письмо своему отпрыску матери Джентльмена из романа «Пелэм» (глава XXVI): «Еще один совет — возвратись в Англию, старайся употреблять в разговоре как можно меньше французских выражений; это признак величайшей вульгарности [кстати, по этому критерию мы с Пушкиным не чужды вульгарности, но эта так называемая «вульгарность» имеет в России глубокие корни, связанные с послепетровским становлением новой русской аристократии; об этом — чуть ниже — С.З.]; меня чрезвычайно позабавила недавно вышедшая книга, автор которой воображает, что он дал верную картину светского общества. Не зная, что вложить нам в уста по-английски, он заставляет нас говорить только по-французски. Я часто спрашивала себя, что думают о нас люди, не принадлежащие к обществу, поскольку в своих повестях они всегда стараются изобразить нас совершенно иными, нежели они сами. Я сильно опасюсь, что мы во всем совершенно похожи на них, с той лишь разницей, что мы держимся проще и естественней. Ведь чем выше положение человека, тем он менее претенциозен, потому что претенциозность тут ни к чему. Вот основная причина того, что у нас манеры лучше, чем у этих людей; у нас — они более естественны, потому что мы никому не подражаем; у них — искусственны, потому что они силятся подражать нам; а все то, что явно заимствовано, становится *вульгарным*. Самобытная вычурность иногда бывает *хорошего тона*; подражательная — всегда дурного» (курсив автора — С.З.)³. Это изложение было бы гениальным, если бы...

Если бы не было подражательным. Пушкин руководствовался Бульвером-Литтоном, который подражал лорду Честерфилду, который в письме сыну от 27 сентября 1749 года по старому стилю развернул целую концепцию вульгарности в ее противоположности к светскости: «Если мысли человека, поступки его и слова отмечены печат-

тью вульгарности и заурядности, то это означает, что он дурно воспитан и привык бывать в дурном обществе <...> Существует необычайно много разных видов вульгарности <...> Человек вульгарный придиричив и ревнив, он выходит из себя по пустякам, которым придает слишком много значения. Ему кажется, что его третируют, о чем бы люди ни разговаривали, он убежден, что разговор идет непременно о нем; если присутствующие над чем-то смеются, он уверен, что они смеются над ним; он сердится, негодует, дерзит и попадает в неловкое положение, выказывая то, что в его глазах является истинной решительностью, и утверждая собственное достоинство. Человек светский никогда не станет думать, что он — единственный или главный предмет внимания окружающих, что все только и делают, что думают и говорят о нем; ему никогда не придет в голову, что им пренебрегают или смеются над ним, если он этого не заслужил <...> Будучи выше всех мелочей, он никогда не принимает их близко к сердцу и не приходит из-за них в ярость, если где-нибудь и сталкивается с ними, то готов скорее уступить, чем из-за них пререкаться»⁴.

Сказанное след в след лордом Честерфилдом, Бульвером-Литтоном и Пушкиным о светскости, хорошем тоне в обществе и о вульгарности является настолько актуальным в современном общественно-политическом контексте, имеет такой взрывной критический потенциал, что просто диву даешься, как далеко — под таким углом зрения — успела уйти так называемая элита нынешней России по торной дороге вульгарности: не вульгарный человек в политике или СМИ смотрится сейчас ходячим анахронизмом. Впору вспомнить резкие слова Фридриха Ницше об «аристократии каналов». *Категории сегодняшней т.н. «светской жизни» в России — это категории вульгарности*. Но об этом позже или в другом месте.

Прежде чем переходить к российской аристократии, к особенностям отечественного высшего света и некоторым обстоятельствам его заката в XIX-начале XX вв., позволю себе сделать еще одно общее замечание. Как показало уже предшествующее изложение, *существование европейской аристократии и высшего света было невозможно без постоянно сопровождавшей их рефлексии*, которая дала богатые плоды в европейской изящной литературе и моралистике Нового времени и развилась в некую разновидность *практической философии, философии светских нравов, искусства приличного поведения*. Сошлюсь опять-таки на роман Бульвера-Литтона: «Замечу мимоходом, — пишет его главный герой, истинный джентльмен и денди Пелэм, — что за редкостный дар уметь держать себя! Сколь трудно его определить, сколь несравненно труднее к нему приобщиться! Оно важнее богатства,

красоты и даже таланта, с избытком возмещает их и не нужно, пожалуй, только гению. В этом искусстве нужно совершенствоваться неустанно, сосредоточивая на нем все внимание, не щадя сил. Тот, кто достиг в нем наивысшей степени, то есть: кто умеет применительно к цели очаровывать, проникать в душу, убеждать — тот владеет сокровеннейшей тайной дипломата и государственного деятеля, тому нужен лишь благоприятный случай, чтобы стать «великим»⁵. Эстафета светского философствования непрерывно передавалась от итальянца Бальдассарре Кастильоне с его трактатом «Придворный» (1528) к испанцу Бальтасару Грациану с его сборником «Карманный оракул» (1647), от него — к «Максимам» Франсуа де Ларошфуко (1664-1665) и «Характерам» Жана де Лабрюйера (1688), далее — к «Введению в познание человеческого разума, сопровождаемому размышлениями и максимами» (1745-1747) Люка де Вовенарга и далее к «Максимам и мыслям» Николая Шамфора (1741-1794), к «Дон Жуану» (1819-1824, не закончен) Джорджа Гордона Байрона и «Пелэму» Бульвера-Литтона, к «Евгению Онегину» Александра Пушкина, к середине XIX века с «Трактатом об элегантнои жизни» Оноре де Бальзака и эссе Жюль Барбе д'Оревильи «О дендизме и Джордже Браммеле», к биографической трилогии Льва Толстого и «Цветам зла» Шарля Бодлера, к романам Шарля Гюисманса и творчеству Оскара Уайльда, а затем — к нашему Серебряному веку с Сергеем Дягилевым и Михаилом Кузминым. Вклад этой традиции в подлинную науку о человеке и пружинах его поведения и общительности, которая когда-либо появится, неоценим — и не оценен по заслугам.

Петиметры, львы, денди и другие

В России свет или высший свет появляется как отдаленный продукт реформ Петра I, фактически — при Екатерине II, с вхождением в жизнь первого *не порото* поколения российских дворян и с участием возникшей и утвердившейся при Петре, но сохранившейся и в последующем, новой русской аристократии, сменившей русское боярство. Говоря о первом не поротом поколении, я не просто перефразирую Александра Герцена. Наш замечательный историк Сергей Платонов в своем «Полном курсе» проследил главные этапы освобождения российского дворянства от своего государственного закрепощения Русской Властью, Империей; закрепощения, которое даже при ринувшемся к европейскому Просвещению Петре I предполагало возможность телесных наказаний и пыток для дворян. Платонов писал: «Грамотой 1785 г. завершен был тот процесс сложения и воз-

вышения дворянского сословия, который мы наблюдали на пространстве всего XVIII в. При Петре Великом дворянин определялся обязанностью бессрочной службы и правом личного землевладения, причем это право принадлежало ему не исключительно и не вполне. При императрице Анне дворянин облегчил свою государственную службу и увеличил свои земельные права. При Елизавете он достиг первых сословных привилегий в сфере имущественных прав и положил начало сословной замкнутости; при Петре III снял с себя служебную повинность и получил некоторые исключительные права. Наконец, при Екатерине II дворянин стал членом губернской дворянской корпорации, привилегированной и держащей в своих руках местное самоуправление. Грамота 1785 года установила, что дворянин не может иначе, как по суду, лишиться своего звания, передает его жене и детям; судится только равными себе, свободен от податей и телесных наказаний, владеет как неотъемлемой собственностью всем, что находится в его имении; свободен от государственной службы, но не может принимать участия в выборах на дворянские должности, если не имеет «офицерского чина» <...> К таким результатам дворянство пришло к концу XVIII в.; исключительные личные права, широкое право сословного самоуправления и сильное влияние на местное управление — вот результаты, к которым привела дворянское сословие политика императрицы» Екатерины II⁶. Добавлю к этому от себя, что коррелятами данного процесса эмансипации российского дворянства были возникновение — впервые в истории России — относительно автономной сферы *частной жизни* (и частной собственности), формирование *личной морали* с такими небывалыми прежде этическими категориями, как личная честь и достоинство (дуэльный кодекс), но также как *приличия, вкус и здравый смысл*. В конце XVIII века это развитие вылилось в возникновение русской аристократии и появление в столицах, то есть в Санкт-Петербурге и Москве, высшего света и его общеевропейских типажей — от французского *petit maitre* (петиметра — светского щеголя) до английского *dandy*, от держательницы парижского великосветского салона до петербургской «кокетки записной».

Что история русской аристократии и российского высшего света не уходит своими корнями далее, чем в послепетровский XVIII век, блистательно показал в своем «Полном курсе» Василий Ключевский: «В правительственном кругу при Петре удержались скудные остатки старой московской знати: несколько князей Голицыных да Долгоруких, князь Репнин, князь Щербатов, Шереметев, Головин, Бутурлин — вот почти и все представители родословного боярства, став-

шие видными деятелями при Петре. Ядро правительственного класса, слагавшегося в XVII в., образовалось из высшего столичного дворянства, из царедворцев, как его звали при Петре, Пушкиных, Толстых, Бестужевых, Волынских, Кондыревых, Плещеевых, Новосильцевых, Воейковых и многих других. Сюда шел непрерывный приток из провинциального дворянства, к которому, например, принадлежали Ордин-Нащокин при Алексее, Неплюев при Петре, даже из «убогого шляхетства» и из слоев «ниже шляхетства», каковы были Нарышкины, Лопухины, Меньшиков, Зотов, наконец, прямо из холопства — Курбатов, Ершов, Зотов и другие прибыльщики. В 1722 г. именитый купец Строганов был пожалован в бароны. Вторжение этих новиков в чиновные ряды, не содействуя единодушию правящего класса, разрушая его генеалогический и нравственный состав, все же вносило туда некоторое оживление, похожее на соперничество, отучало от боярской спеси и стольничьей рутины. Рядом с выслужившимися доморощенными новиками становилось и получало важное значение множество чудаков, инородцев и иноземцев; барон Шафиров, сын пленного и крестившегося еврея, служившего в лавке боярина Хитрова, а потом бывшего сидельцем в лавке московского купца; Ягужинский, как рассказывали, сын выехавшего из Литвы органиста лютеранской церкви, в детстве пасший свиней»⁷ и т.д. и т.п.

Чрезвычайно любопытным является и то, что Петр не только заимствовал из западной Европы некоторые готовые формы дворянского существования в ситуации *отсутствия подлинного дворянства*: например, насильственно ввел особым Указом 1701 года ношение немецкого платья, основал первую в России газету «Ведомости» и повелел посредством распоряжения петербургского обер-полицмейстера Девиера в 1718 году устраивать регулярно *ассамблеи*: как бы *вольные* собрания, открывавшиеся по вечерам в знатных домах *по установленному порядку*, в которых участвовали дворяне, люди высших чинов до обер-офицеров, знатные купцы и главные мастера. «Ассамблея — и биржа, и клуб, и приятельский журфикс, и танцевальный вечер. Никаких церемоний, ни встреч, ни проводов, ни потчеваний; всякий приходил, пил, ел, что поставил на стол хозяин, и уходил по усмотрению. За нарушение правил штраф — осушить *орла*, большой кубок крепкого вина с изображением государственного герба, чтобы стать предметом общего веселого смеха» (курсив Ключевского — С.3.)⁸. Особо любил сам неприменный участник ассамблей, царь Питер, смеяться над пьяными дамами, которых сам же и спаивал со товарищи. Все-таки это было немного далеко от Европы. Собственно, формы великосветской общительности: салоны, званые вечера,

обеда и ужины, утренние приемы на квартирах у дам в неглиже, балы, обязательный ритуал визитов и ответных визитов, и т.п. — эти формы жизни света распространились и утвердились в России только в конце XVIII века.

Отмечу еще два крайне интересных в обсуждаемой связи момента. У колыбели возникавших мало-помалу в России «приличных людей» стоял домашний учитель из немцев, голландцев, англичан или французов с побочным эрзац-продуктом той традиции «философии высшего света», которую я очертил выше: в 1717 году по распоряжению или с разрешения Петра была издана *светским шрифтом на новорусском языке* переводная — с немецкого — книжка «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению», которая выдержала три издания в годы петровского правления, не раз публиковалась и позже. Книга довольно жалкая, если сравнивать ее с высокими образцами «философии света», которые я поминал выше, но полезная: может быть, ее бы стоило переиздать и сейчас взамен несостоявшихся пока еще кодексов поведения, которые вознамерились принять Думы РФ и Москвы, чтобы как-то опристойнить буйные нравы депутатов и госслужащих.

Тем более, что даже в вольном пересказе идея книжки была самая замечательная: преподать молодому поколению, — а кто при Петре, как и при Борисе и Владимире, не чувствовал себя начинающим! — правила, как надо держать себя в обществе. Первое из правил — не уподобляться беззаботному мужику, который валяется на солнышке или греется на завалинке; ибо не славная фамилия и древний род делают «шляхтича» (термины «шляхтич» и «дворянин» были при Петре равно употребительными), а благородные поступки и добродетели, среди которых особо акцентируются три: *приветливость, смирение и учтивость* (и это — в нашей матушке России, стране сломанной середины!). Шляхтич, который мечтает стать придворным, то есть светским человеком, должен не много не мало уметь следующее: владеть языками, конной ездой, танцевальным искусством, фехтованием, светским красноречием, умением вести «добрый разговор», сдержанностью. Словом, «легко мазурку танцевать // И кланяться непринужденно» (А.П.).

Были в «Зерцале» и правила, которые стали камнем преткновения для петровских шляхтичей: «Повесь голову и потупя глаза на улице не ходить и на людей косо не заглядывать («Скосясь, двойной лорнет наводит // На кресла незнакомых дам» — А.П.), глядеть весело и приятно с благообразным постоянством, при встрече со знакомым за три шага шляпу снять приятным образом, а не мимо прошедши от-

лядываться (сразу вспоминается скандалист Виктор Шкловский, который при посещении салона Бриков всякий раз совал руку присутствующим и представлялся, а на обиды знакомых заявлял: «А вы повязывайте руку платком, чтобы я вас отождествлял при встречах и не ошибался» — С.З.), в сапогах не танцевать, в обществе в круг не плевать, а на сторону, в комнате или Церкви в платок громко не сморкаться и не чихать, перстом носа не чистить, губ рукой не вытирать, за столом на стол не опираться, руками по столу не колобродить, ногами не мотать, перстов не облизывать, костей не грызть, ножом зубов не чистить, головы не чесать, над пищей, как свинья, не чавкать, не проглотя куска, не говорить». Великие заповеди, неувядающий документ, и несть ему конца.

Еще одно замечание. Василий Ключевский в своем «Полном курсе» отмечал: «В дворянском обществе к середине XVIII в. сложились два любопытных типических представителя общежития, блиставших в царствование Елизаветы; они получили характерные названия «петиметра» и «кокетки». Петиметр — великосветский кавалер, воспитанный по-французски; русское для него не существовало или существовало только как предмет насмешки и презрения; русский язык он презирал столько, как и немецкий; о России он ничего не хотел знать»⁹ («Но *панталоны, фрак, жилет*, // Всех этих слов на русском нет» — А.П.). Мало того, Ключевский первым в истории русской общественной мысли предложил феноменологию, культур-философию и историческую типологию русского светского человека в период от Елизаветы до Екатерины II и Александра I: «Таким образом, можно обозначить главные моменты, пройденные дворянством на пути образования: петровский артиллерист и навигатор через несколько времени превратился в елизаветинского петиметра, а петиметр при Екатерине II превратился в свою очередь в *homme de lettres*‘а, который к концу века сделался вольнодумцем, масоном или вольтерьянцем; и тот высший слой дворянства, прошедший указанные моменты развития в течение XVII в., и должен был после Екатерины руководить обществом <...> Положение этого класса в обществе покоилось на политической несправедливости и венчалось общественным бездельем; с рук дьячка-учителя человек этого класса переходил на руки к французу-гувернеру, довершал свое образование в итальянском театре или французском ресторане, применял приобретенные понятия в столичных гостиных и доканчивал свои дни в московском или деревенском своем кабинете с Вольтером в руках. С книжкой Вольтера в руках где-нибудь на Поварской или в тульской деревне этот дворя-

нин представлял очень странное явление: усвоенные им манеры, привычки, понятия, чувства, сам язык, на котором он мыслил, — все было чужое, все привозное»¹⁰.

К этому великолепному анализу я бы добавил только одно замечание: после войны с Наполеоном и воцарения Николая I французское влияние на российский высший свет сменилось английским, петиметра и масона (декабриста) сменили в качестве главной фигуры dandy, английский фат, повеса или эксцентрический чудак. Юрий Лотман отмечал: «Ориентация русских щеголей на английский дендизм датируется началом 1810-х гг. В отличие от петиметра XVIII в., образцом для которого был парижский модник, русский денди пушкинской эпохи культивировал не утонченную вежливость, искусство салонной беседы и светского остроумия, а шокирующую небрежность и дерзость обращения. Ср. в пушкинском «Романе в письмах»: «Мужчины отменно недовольны моею fatitute indolente (фатовской томностью — С. 3.), которая здесь еще новость. Они бесятся тем более, что я чрезвычайно учтив и благопристоен, и они никак не понимают, в чем состоит мое нахальство — хотя и чувствуют, что я нахаль»¹¹. Слово-калька «денди» стало употребляться в русском языке примерно с 1815 года. Пушкин, который собирался писать «Русского Пелэма», хорошо понял Бульвер-Литтона, но не хуже понял писателя его друг Бенджамин Дизраэли, будущий глава правительства Великобритании, который в молодости был невыносимым фатом и ярким поборником дендизма. Так молодой Дизраэли писал отцу во время своего морского путешествия, где он встретил на корабле достойного противника — не тронутого дендизмом джентльмена, дипломата и офицера Джеймса Клея: «Чтобы управлять людьми, надо или побеждать их на их же поприще или презирать их. Клей делает первое, я второе, и мы оба одинаково популярны. Напыщенность, пожалуй, производит даже большее впечатление, чем ум. Вчера, когда я наблюдал за игрой в ракетку, к моим ногам упал мячик. Я поднял его и, заметив необыкновенно чопорного молодого человека, смиренно попросил его перекинуть мяч игрокам, так как я никогда в жизни не бросал мяча. Этот инцидент был сегодня повсюду предметом разговора»¹². Еврей-выкрест Бенджамин Дизраэли справедливо полагал: высокомерие тем необходимее, чем низменнее положение; дендизм — единственная достойная манера поведения.

Вторичное смесительное упрощение

Собственно говоря, пушкинская эпоха была не только *Золотым веком* русской литературы, но и временем *«цветущей сложности»* российской аристократии и петербургско-московского высшего света.

Именно тогда получили развитие все категории онтологии отечественного высшего света, именно тогда во всем великолепии выступили его типические фигуры, его герои; именно тогда высший свет в произведениях Пушкина, Лермонтова и Льва Толстого осознал себя и свое право на бытие, в том числе — бытие духовное и нравственное. С реформами 1861 года началась совершенно новая эпоха: эпоха *«вторичного смесительного упрощения»*, постепенного, но неудержимого заката и деградации аристократии и высшего света под напором нового жизненного принципа, который в России выступил в виде нашего родного «дикого капитализма». Собственно говоря, России пришлось еще не раз переживать сходные эпохи, когда дикий капитализм подрывал устои феодально-сословного или неофеодально-сословного, как в период сталинизма или позднего оттепельно-застойного сталинизма, общества: эпоха НЭПа и сталинского Термидора с его государственным капитализмом, ельцинско-путинская эпоха с ее «грабительским капитализмом». Сходство социальной проблематики и ее культурных преломлений в эти эпохи настолько бросается в глаза, что как бы даже не требует специального доказательства. И одной из главных черт этих эпох является *культурная мимикрия*, попытка варварского нового цивилизоваться, усвоив себе устоявшиеся красивые формы старого, механическое подражание, экспансия «ряженных» на всех ступенях общественной иерархии. Как тогда, так и сейчас в России везде и повсюду — ряженые, самозванцы, пародии. (Пушкин: «Уж не пародия ли он?»)

И никто глубже, чем Федор Достоевский, не пережил и не воссоздал эту эпохальную проблематику, равно как и никто глубже ее не осмыслил, чем Константин Леонтьев, чьими терминами я воспользовался для обозначения сменяющих друг друга эпох. Достоевский в своих гениальных последних романах, Леонтьев в своих гениальных работах «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» и «Достоевский о русском дворянстве» с неподражаемой пластичностью изобразили этот фатальный для России процесс смены не только экономических, но и государственно-политических и культурных парадигм ее развития, движения российской цивилизации в неизвестное, все еще открытое будущее. К концу ли истории? Бог весть, главное, что не к началу. В ходе этого процесса радикально изменяется онтология российского общежительного бытия, меняются или перефункционализируются ее фундаментальные категории (право на честь сменяется «правом на бесчестье»); великосветский салон, прием или раут с избранной публикой сменяются «тусовками» с их вавилонским столпотворением и политическим свальным грехом; в каче-

стве героев «светской жизни» выступают персонажи, которых в «приличном обществе», не говоря уже о свете, дальше передней не пускали — в «лучших домах Лондона»: разгребатели грязи из СМИ, вышедшие в тираж демократы и неизвестно кого защищающие правозащитники, певцы экскрементов, выдающие себя за постмодернистов, и зашибающие на этом деньгу продвинутые издатели, порхающие из одной постели в другую, из одного сериала в другой актеры и актрисы, певицы без голоса, но со спонсором, политики-шоумены и шоумены-политики, — имя им легион.

Я же завершу свое изложение длинной цитатой из упомянутой статьи Леонтьева о Достоевском (кто боится длинных цитат из текстов невероятно умных авторов, может воздержаться от чтения последующего), где он как бы предстательствует за них обоих: «Если бы я был русским романистом и имел талант, — писал Леонтьев с оглядкой на Достоевского, — то непременно избрал бы героев моих из русского родового дворянства, *потому что лишь в этом одном типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя.* Говоря так, вовсе не шучу, *для сам я совершенно не дворянин*, что, впрочем, вам и самим известно. Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в «Преданиях русского семейства», и поверьте, что тут действительно все, что у нас было доселе красивого. По крайней мере, тут все, что было у нас сколько-нибудь завершенного. Я не потому говорю, что так уж безусловно согласен с правильностью и правдивостью красоты этой; *но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато.* Я говорю как человек спокойный и ищущий спокойствия. Там — хороша ли эта честь и верен ли долг — это вопрос второй; но важнее для меня именно законченность форм и хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а самими, наконец-то, выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь да свой, наконец, порядок! В том заключалась надежда и, так сказать, отдых: хоть что-нибудь, наконец, построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которого вот уже двести лет все ничего не выходит <...> Уже не сор прирастает к высшему слою людей, а, напротив, от красивого типа отрываются, с веселой торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядкующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники бывших культурных семей смеются уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы верить их дети. Мало того, с увлечением не скры-

вают от детей своих свою алчную радость о внезапном праве на бесчестье, которые они вдруг вывели всей массой» (курсив К.Леонтьева — С.З.)¹³.

И далее Леонтьев приводит выдержку из романа Достоевского «Подросток», которая его потрясла: «Не будет ли справедливее вывод, что уже множество таких, несомненно родовых, семейств русских, с неудержимой силою переходят массами в семейства *случайные* и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе <...> Признаюсь, не хотел бы я быть романистом героя из случайного семейства! Работа неблагодарная и без красивых форм. Да и типы эти, во всяком случае, — еще дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными. Возможны важные ошибки, возможны преувеличения, недосмотры. Во всяком случае, предстояло бы слишком много угадывать. Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему? Угадывать и... ошибаться»¹⁴. Леонтьева поразила при чтении «Подростка» *неожиданность* этого благоприятного для дворян общего вывода из рассказа, но «отрицательное, местами даже до болезненности тягостное и отвратительное впечатление» на Леонтьева произвели «подробности» этого рассказа.

Ну, так что же. Все мы сегодня по-своему — члены «случайных семейств», и мороз подирает нас по коже, когда мы слышим дребезжащий смехок иных из релевантных ныне отцов-шестидесятников. Но ведь наша жизнь и состоит из этих ненавистных Леонтьеву «подробностей». И нам все равно придется в наш черед взяться за то самое дело, которое Достоевский сделал в свой черед намного лучше, чем помстилось его великому критику. Ну, так что же... «В нашу прозу с ее безобразьем // С октября забредает зима. // Небеса опускаются наземь, // Точно занавеса бахромы»¹⁵. Далее со всеми остановками.

Примечания

- ¹ *Бульвер-Литтон Э. Дж. Э.* Пелэм, или Приключения джентльмена. М., 1958. С. 55.
- ² *Честерфильд*. Письма к сыну. Максимы. Характеры. М., 1971. С. 207–208.
- ³ *Бульвер-Литтон Э. Дж. Э.* Указ. соч. С. 165.
- ⁴ *Честерфильд Ф. Д. С.* Указ. соч. С. 117–118.
- ⁵ *Бульвер-Литтон Э. Дж. Э.* Указ. соч. С. 90.
- ⁶ *Платонов С. Ф.* Лекции по русской истории. СПб., 1997. С. 709.
- ⁷ *Ключевский В.* Русская история. Полный курс лекций. Книга вторая. Минск–М., 2000. С. 542.
- ⁸ Там же. С. 560.
- ⁹ Там же. С. 875.
- ¹⁰ Там же. С. 891.
- ¹¹ *Лотман Ю. М.* Пушкин. СПб., 1995. С. 550.
- ¹² См.: *Моруа А.* Жизнь Дизраэли. М., 1991. С. 34.
- ¹³ *Леонтьев К. Н.* Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 690.
- ¹⁴ Там же. С. 690–691. См.: *Достоевский Ф. М.* Подросток // *Он же.* Собр. соч. В 12 т. Т. 10. М., 1982. С. 379.
- ¹⁵ *Пастернак Б. Л.* Девятьсот пятый год // *Пастернак Б. Л.* Избранное. В 2 т. Т. 1. М., 1985. С. 208.